### 

### Ф.М. Достоевский

**Арестант**

### *По повести “Записки из мёртвого дома.”*

### *Инсценировка Бориса Манджиева.*

**1-эпизод.**

*Гремят решётки дверей каземата, клацанье ключей в замках, скрип отворяющихся дверей. Яркий свет и в комнату вталкивают человека. Он бросается обратно к двери, но поздно – они с грохотом закрылись. Человек отчаянно кричит.*

Чего именно ему, Петрову, от меня хотелось, зачем он лез ко мне каждый день, я не знаю! Да, случалось ему воровать у меня, но он воровал как-то нечаянно; денег же почти никогда у меня не просил, следовательно, приходил вовсе не за деньгами или за каким-нибудь интересом!

*Теперь он огляделся. Непонятно где он, не камера, не комната, а очень маленькое, узкое пространство, словно колодец. Но видно возвышение, напоминающее кровать, накрытое кучей тряпичного барахла.*

*Прилёг, но долго лежать не смог. Начал медленно ходить по пространству, затем начал убыстрять ход, но внезапно остановился. Ему что-то показалось… ему что-то привиделось в темноте…*

Машенька, это ты? О, господи, ты пришла за мной? Родимая, как я рад, что ты здесь. Сегодня я выхожу на свободу и поэтому ты пришла за мной…О. господи, тебя могут здесь увидеть, спрячься, прошу. Вон, там, в углу. И не выходи, пока не позову…*(идёт к двери, зовёт)* Конвойный! Мне надо идти в кузницу, чтоб расковать кандалы! *(в темноту)* Никого нет, видимо моя очередь не подошла. Я подожду, покамест раскуют других. *(зовёт)* Машенька, Машенька! Когда мы выйдем отсюда, в первую очередь зайдём в чайную. *( пауза)* Постарел я, *(заплакал)* Машенька....

**2-эпизод.**

Машенька, знаешь сколько кольев было в заборе нашего острога? Шесть тысяч восемьсот шестьдесят один кольев! Сколько тысяч раз я обходил и считал эти пали-колья в заборе во все эти годы! Помню, как я считал тогда, сколько тысяч дней мне остается. Мысленно прощался я с этими почернелыми бревенчатыми срубами наших казарм. Как неприветливо поразили они меня тогда, в первое время. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ, Машенька, необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?

То-то, кто виноват?

**3- эпизод.**

В последний день утром рано, еще перед выходом на работу, когда только еще начинало светать, обошел я все казармы, чтоб попрощаться со всеми арестантами. Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они. Знали, что у меня в городе есть знакомство, что я тотчас же отправляюсь отсюда к господам и рядом сяду с этими господами как ровный. Они это понимали и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью.

**4-эпизод.**

Ах, Машенька, моя как я соскучился по тебе! Все думы только о тебе. Как ты была без меня? Ты выросла поди, тебе уже 29 годков? Только год и прожили мы с тобой до этой беды… Замуж я тебя взял махонькой девочкой, какое счастье было! Я то и не думал о семье, уже за сорок стукнуло, привык жить холостяком, а тут ты повстречалась…

Я так и не смог привыкнуть к жизни в остроге. Помню, как в этот первый год я часто про других арестантов размышлял про себя: «Что они, как? Неужели могли привыкнуть? Неужели спокойны?» Все арестанты жили здесь как бы не у себя дома, а как будто на постоялом дворе, на походе, на этапе каком-то. Люди, присланные на всю жизнь, и те суетились или тосковали, и уж непременно каждый из них про себя мечтал о чем-нибудь почти невозможном. Тут все были мечтатели, и это бросалось в глаза. Чем несбыточнее были надежды и чем больше чувствовал эту несбыточность сам мечтатель, тем упорнее и целомудреннее он их таил про себя, но отказаться от них он не мог.

**5-эпизод.**

*Строит из подручных вещей что-то вроде замка.*

Острог наш, Машенька, стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? – и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают часовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же подойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Машенька, принеси пожалуйста мне Библию. Настало время молитвы…

За воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. А тут был свой особый мир, ни на что не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь – как нигде, и люди особенные.

Машенька, не утруждайся, я сам возьму книгу.

*Уходит куда-то в темноту и вскоре приносит книгу. Библия, старая, затёртая.*

В остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и наконец, выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Да, и мне вон пошёл шестой десяток. А счастье-то у меня с тобой было всего год. Как я любил твоё лицо, голос, стан…

**6-эпизод.**

Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменые лица, лоскутные платья, все – обруганное, ошельмованное… да, живуч человек!

Я бы никогда не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу – один! Мало-помалу я стал распространять и круг моего знакомства. Впрочем, сам я не думал о знакомствах: я все еще был неспокоен, угрюм и недоверчив. Знакомства мои начались сами собою. Из первых стал посещать меня арестант Петров. Петров жил в особом отделении и в самой отдаленной от меня казарме. Первое время Петров как будто обязанностью почитал чуть не каждый день заходить ко мне в казарму. Мне это было неприятно…*(начал задыхаться от гнева. Немного погодя успокоившись)*

Понимаешь, Машенька, мне был неприятен этот Петров, *(пауза)* правда, сначала… Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!

Кандалы мои были неформенные, кольчатые, *(начинает играть кандалами*) «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.

**7-эпизод.**

Народ здесь был грамотный и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. Слышал я, что грамотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток.

Не выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и – сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал заявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полицию нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. Все время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, за то, что не умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своем отце. Раз, говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь». Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна

*Поёт колыбельную.*

**8-эпизод.**

Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью: арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. Длинный летний день почти весь наполнялся казенной работой, а что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую. Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми.

Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Последняя тряпка была в цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели совершенно другую цену, чем на воле. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся и разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались.

Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали.

**9-эпизод.**

На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно.

Несмотря на то, что те уже лишены всех своих прав состояния и вполне сравнены с остальными арестантами, – арестанты никогда не признают их своими товарищами. Они искренно признавали нас за дворян, несмотря на то, что сами же любили дразнить нас нашим падением.

– Нет, теперь полно! постой! Бывало, Петр через Москву прет, а нынче Петр веревки вьет, – и проч. и проч. любезности.

Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать. Особенно доставалось нам сначала на работе, за то, что в нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им вполне помогать.

Из дворян, кроме меня, было четверо. Один – низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу. Я слышал о нем еще до прихода в острог и с первых же дней прервал с ним всякие отношения. Другой – тот самый отцеубийца, о котором я уже говорил. Третий был Аким Акимыч; редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. Служил он на Кавказе прапорщиком. Мы сошлись с ним с первого же дня, и он тотчас же рассказал мне свое дело. Начал он на Кавказе же, с юнкеров, по пехотному полку, долго тянул лямку, наконец был произведен в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирной князек зажег его крепость и сделал на нее ночное нападение; оно не удалось. Аким Акимыч схитрил и не показал даже виду, что знает, кто злоумышленник. Дело свалили на немирных, а через месяц Аким Акимыч зазвал князька к себе по-дружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая. Аким Акимыч выстроил свой отряд; уличал и укорял князька всенародно; доказал ему, что крепости зажигать стыдно. Тут же прочел ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперед, и, в заключение, расстрелял его, о чем немедленно и донес начальству со всеми подробностями. За все это его судили, приговорили к смертной казни, но смягчили приговор и сослали в Сибирь, в каторгу второго разряда, в крепостях, на двенадцать лет. Он вполне сознавал, что поступил неправильно, говорил мне, что знал об этом и перед расстрелянием князька, знал, что мирного должно было судить по законам; но, несмотря на то, что знал это, он как будто никак на мог понять своей вины настоящим образом:

– Да помилуйте! Ведь он зажег мою крепость? Что ж мне, поклониться, что ли, ему за это! – говорил он мне, отвечая на мои возражения.

Но, несмотря на то что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.

**10-эпизод.**

Арестант страстно любит деньги и ценит их выше всего, почти наравне с свободой, и что он уже утешен, если они звенят у него в кармане. Но, несмотря на то, что в остроге деньги были такою драгоценностью, они никогда не залеживались у счастливца, их имеющего.

Почему в кармане у арестанта не залеживались деньги. Но, кроме труда уберечь их, в остроге было столько тоски; арестант же, по природе своей, существо до того жаждущее свободы и, наконец, по социальному своему положению, до того легкомысленное и беспорядочное, что его, естественно, влечет вдруг «развернуться на все», закутить на весь капитал, с громом и с музыкой, так, чтоб забыть, хоть на минутку, тоску свою. Даже странно было смотреть, как иной из них работает, не разгибая шеи, иногда по нескольку месяцев, единственно для того, чтоб в один день спустить весь заработок, все дочиста, а потом опять, до нового кутежа, несколько месяцев корпеть за работой. Многие из них любили заводить себе обновки, и непременно партикулярного свойства: какие-нибудь неформенные, черные штаны, поддевки, сибирки. В большом употреблении были тоже ситцевые рубашки и пояса с медными бляхами. Рядились в праздники, и разрядившийся непременно, бывало, пройдет по всем казармам показать себя всему свету. Довольство хорошо одетого доходило до ребячества; да и во многом арестанты были совершенно дети. Правда, все эти хорошие вещи как-то вдруг исчезали от хозяина, иногда в тот же вечер закладывались и спускались за бесценок. Впрочем, кутеж развертывался постепенно. Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени; он наедался как вол, почти всегда один, редко приглашая товарищей разделить свою трапезу. Потом появлялось и вино: именинник напивался как стелька и непременно ходил по казармам, покачиваясь и спотыкаясь, стараясь показать всем, что он пьян, что он «гуляет», и тем заслужил всеобщее уважение. В острожной гульбе был своего рода аристократизм. Развеселившись, арестант непременно нанимал музыку. Был в остроге один полячок из беглых солдат, очень гаденький, но игравший на скрипке и имевший при себе инструмент – все свое достояние. Ремесла он не имел никакого и тем только и промышлял, что нанимался к гуляющим играть веселые танцы. Должность его состояла в том, чтоб безотлучно следовать за своим пьяным хозяином из казармы в казарму и пилить на скрипке изо всей мочи. Арестант, начиная гулять, мог быть твердо уверен, что если он уж очень напьется, то за ним непременно присмотрят, вовремя уложат спать и всегда куда-нибудь спрячут при появлении начальства, и все это совершенно бескорыстно.

**11-эпизод.**

Более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, – мысль отчасти неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно. Например: и тот и другой убили человека; взвешены все обстоятельства обоих дел; и по тому и по другому делу выходит почти одно наказание. А между тем, посмотрите, какая разница в преступлениях. Один, например, зарезал человека так, за ничто, за луковицу: вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, батька! Ты меня посылал на добычу: вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел». – «Дурак! Луковица – ан копейка! Сто душ – сто луковиц, вот те и рубль!». Один убил по бродяжничеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из удовольствия резать, чувствовать на своих руках их теплую кровь, насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом.

*(вдруг взорвавшись)* А другой убил, защищая от сладострастного тирана честь жены...

*(очнувшись, потихоньку успокаивается)* И что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу.

Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастьем, а преступников несчастными.

**12-эпизод.**

И всё-таки, Машенька, я был не так одинок. Как-то вечером, по окончании послеобеденной работы, я воротился в острог, усталый и измученный, страшная тоска опять одолела меня. «Сколько тысяч еще таких дней впереди, – думал я, – все таких же, все одних и тех же!» Молча, уже в сумерки, скитался я один за казармами, вдоль забора, и вдруг я обнаружил щенка. Культяпкой его назвал. Зачем я его принес в острог еще слепым щенком, не помню. Мне приятно было кормить и растить его. Странно, что Культяпка почти не рос в вышину, а все в длину и ширину. Шерсть была на нем лохматая, какого-то светло-мышиного цветы; одно ухо росло вниз, а другое вверх. Характера он был пылкого и восторженного, как и всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих: «Был бы только виден восторг, а приличия ничего не значат!» Бывало, где бы я ни был, но по крику: «Культяпка!» – он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым восторгом летел ко мне, катясь, как шарик, и перекувыркиваясь дорогою. Я ужасно полюбил этого маленького уродца. Казалось, судьба готовила ему в жизни довольство и одни только радости.

Но в один прекрасный день арестант Неустроев, занимавшийся шитьем женских башмаков и выделкой кож, обратил на него особенное внимание. Его вдруг что-то поразило. Он подозвал Культяпку к себе, пощупал его шерсть и ласково повалял его спиной по земле. Культяпка, ничего не подозревавший, визжал от удовольствия. Но на другое же утро он исчез. Я долго искал его; точно в воду канул; *(плачет)* и только через две недели все объяснилось: Культяпкин мех чрезвычайно понравился Неустроеву. Он содрал его, выделал и подложил им бархатные зимние полусапожки, которые заказала ему аудиторша. Он показывал мне и полусапожки, когда они были готовы. Шерсть вышла удивительная. Бедный Культяпка! Гладил его и тебя, родимая, вспоминал…Юную, мою утреннюю росу…Боялся, что украдут тебя у меня…

**13-эпизод.**

Но время шло, и я мало-помалу стал обживаться. С каждым днем все менее и менее смущали меня обыденные явления моей новой жизни. Происшествия, обстановка, люди – все как-то примелькалось к глазам. Примириться с этой жизнью было невозможно, но признать ее за совершившийся факт давно пора было. Все недоразумения, которые еще остались во мне, я затаил внутри себя, как только мог глуше. Я уже не слонялся по острогу как потерянный и не выдавал тоски своей. Дико любопытные взгляды каторжных уже не останавливались на мне так часто, не следили за мной с такою выделанною наглостью. Я тоже, видно, примелькался им.

**14-эпизод.** **Баня.**

Наступал праздник рождества Христова. Дня за четыре до праздника повели нас в баню.

Было морозно и солнечно; арестанты радовались уже тому, что выйдут из крепости и посмотрят на город. Шутки, смех не умолкали дорогою. Целый взвод солдат провожал нас с заряженными ружьями, на диво всему городу. В бане арестанту очень трудно раздеваться, если он еще не совсем научился. Во-первых, нужно уметь скоро расшнуровывать подкандальники. Эти подкандальники делаются из кожи, вершка в четыре длиною, и надеваются на белье, прямо под железное кольцо, охватывающее ногу. Пара подкандальников стоит не менее шести гривен серебром, а между тем каждый арестант заводит их себе на свой счет, разумеется, потому что без подкандальников невозможно ходить. Кандальное кольцо не плотно охватывает ногу, и между кольцом и ногой может пройти палец; таким образом, железо бьет по ноге, трет ее, и в один день арестант без подкандальников успел бы натереть себе раны. Но снять подкандальники еще не трудно. Труднее научиться ловко снимать из-под кандалов белье. Это целый фокус. Сняв нижнее белье, положим, хоть с левой ноги, нужно пропустить его сначала между ногой и кандальным кольцом; потом, освободив ногу, продеть это белье назад сквозь то же кольцо; потом все, уже снятое с левой ноги, продернуть сквозь кольцо на правой ноге; а затем все продетое сквозь первое кольцо опять к себе обратно. Такая же история и с надеванием нового белья.

На каждого арестанта отпускалось, по условию с хозяином бани, только по шайке горячей воды; кто же хотел обмыться почище, тот за грош мог получить и другую шайку, которая и передавалась в самую баню через особо устроенное для того окошко из предбанника. Раздев, Петров повел меня даже под руку, заметив, что мне очень трудно ступать в кандалах. «Вы их кверху потяните, на икры, – приговаривал он, поддерживая меня, точно дядька, – а вот тут осторожнее, тут порог».

Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад. Представьте себе комнату шагов в двенадцать длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до ста человек разом, и уж по крайней мере, наверно, восемьдесят, потому что арестанты разделены были всего на две смены, а всех нас пришло в баню до двухсот человек. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу. Я испугался и хотел вернуться назад, но Петров тотчас же ободрил меня. Кое-как, с величайшими затруднениями, протеснились мы до лавок через головы рассевшихся на полу людей, прося их нагнуться, чтоб нам можно было пройти. Но места на лавках все были заняты. Петров объявил мне, что надо купить место, и тотчас же вступил в торг с арестантом, поместившимся у окошка. За копейку тот уступил свое место, немедленно получил от Петрова деньги, которые тот нес, зажав в кулаке, предусмотрительно взяв их с собою в баню, и тотчас же юркнул под лавку прямо под мое место, где было темно, грязно и где липкая сырость наросла везде чуть не на полпальца. Но места и под лавками были все заняты; там тоже копошился народ. На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели скрючившись арестанты, плескаясь из своих шаек. Другие стояли между них торчком и, держа в руках свои шайки, мылись стоя. Веников пятьдесят на полке подымалось и опускалось разом; все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уж не жар; это было пекло. Все это орало и гоготало, при звуке ста цепей, волочившихся по полу… Иные, желая пройти, запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам сидевших ниже, падали, ругались и увлекали за собой задетых. Грязь лилась со всех сторон.

Грязная вода стекала с них прямо на бритые головы сидевших внизу. Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались еще уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными. Страшные рубцы!

**15-эпизод.**

Завтрашней день был настоящий, неотъемлемый у арестанта праздник, признанный за ним формально законом. Это был праздник Рождества. В этот день арестант не мог быть выслан на работу, и таких дней всего было три в году.

Во всех казармах улеглись гораздо раньше обыкновенного. Обыкновенные вечерние работы были оставлены; об майданах и помину не было. Все ждало завтрашнего утра.

Оно наконец настало. Рано, еще до свету, едва только пробили зорю, отворили казармы, и вошедший считать арестантов караульный унтер-офицер поздравил их всех с праздником. Ему отвечали тем же, отвечали приветливо и ласково.

Помолившись, Аким Акимыч подошел ко мне и с некоторою торжественностью поздравил меня с праздником. Я тут же позвал его на чай. Спустя немного прибежал ко мне и Петров поздравить меня. Он, кажется, уж выпил и хоть прибежал запыхавшись, но многого не сказал, а только постоял недолго передо мной с каким-то ожиданием и вскоре ушел от меня на кухню. Между тем в военной казарме приготовлялись к принятию священника. Наконец пришел священник с крестом и святою водою. Помолившись и пропев перед образом, он стал перед арестантами, и все с истинным благоговением стали подходить прикладываться к кресту. Затем священник обошел все казармы и окропил их святою водою.

Стали обедать. И вот не могу объяснить, как это случилось: тотчас же по отъезде плац-майора, каких-нибудь пять минут спустя, оказалось необыкновенно много пьяного народу, а между тем, еще за пять минут, все были почти совершенно трезвые. Явилось много рдеющих и сияющих лиц, явились балалайки. Полячок со скрипкой уже ходил за каким-то гулякой, нанятый на весь день, и пилил ему веселые танцы. Разговор становился хмельнее и шумнее. Но отобедали без больших беспорядков. Все были сыты.

Мало-помалу народ разгуливался. Начинались и ссоры. Трезвых все-таки оставалось гораздо большая часть, и было кому присмотреть за нетрезвыми. Зато уж гулявшие пили без меры.

Многие расхаживали с собственными балалайками, тулупы внакидку, и с молодецким видом перебирали струны. В особом отделении образовался даже хор, человек из восьми. Они славно пели под аккомпанемент балалаек и гитар.

Между тем начинались уж и сумерки. Грусть, тоска и чад тяжело проглядывали среди пьянства и гульбы. Смеявшийся за час тому назад уже рыдал где-нибудь, напившись через край. Другие успели уже раза по два подраться. Третьи, бледные и чуть держась на ногах, шатались по казармам, заводили ссоры. Те же, у которых хмель был незадорного свойства, тщетно искали друзей, чтобы излить перед ними свою душу и выплакать свое пьяное горе. Весь этот бедный народ хотел повеселиться, провесть весело великий праздник – и, господи! какой тяжелый и грустный был этот день чуть не для каждого. Каждый проводил его, как будто обманувшись в какой-то надежде.

Но что рассказывать про этот чад! Наконец кончается этот удушливый день. Арестанты тяжело засыпают на нарах. Во сне они говорят и бредят еще больше, чем в другие ночи. Кой-где еще сидят за майданами. Давно ожидаемый праздник прошел. Завтра опять будни, опять на работу…

### 16-эпизод.

Мало-помалу начинались и летние работы. Солнце с каждым днем все теплее и ярче; воздух пахнет весною и раздражительно действует на организм. Наступающие красные дни волнуют и закованного человека, рождают и в нем какие-то желания, стремления, тоску. Кажется, еще сильнее грустишь о свободе под ярким солнечным лучом, чем в ненастный зимний или осенний день, и это заметно на всех арестантах. Они как будто и рады светлым дням, но вместе с тем в них усиливается какая-то нетерпеливость, порывчатость.

Весна действовала и на меня своим влиянием. Помню, как я с жадностью смотрел иногда сквозь щели забора как зеленеет трава на нашем крепостном вале, как все гуще и гуще синеет далекое небо. Беспокойство и тоска моя росли с каждым днем, и острог становился мне все более и более ненавистным. И потому весна, призрак свободы, всеобщее веселье в природе, сказывалась на мне как-то тоже грустно и раздражительно.

**17-эпизод.**

Летние работы действительно оказались гораздо труднее зимних. Я, впрочем, любил таскать кирпичи не за то только, что от этой работы укрепляется тело, а за то еще, что работа производилась на берегу Иртыша. С этом берега, был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи, производившие на меня странное впечатление своею пустынностью. На берегу только и можно было стать к крепости задом и не видать ее. Все прочие места наших работ были в крепости или подле нее. С самых первых дней я возненавидел эту крепость и особенно иные здания. На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега Все это бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в синем, прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой… Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весною в расселине каменного берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание. Тоска всего этого первого года каторги была нестерпимая и действовала на меня раздражительно, горько. В этот первый год от этой тоски я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться.

**18-эпизод.**

*(Раздражённо, постепенно начинается пробуждаться у него гнев*.) Но этот злосчастный Петр как-то так умел сделать, что вскоре его посещения даже стали развлекать меня, несмотря на то что это был вовсе не особенно сообщительный и разговорчивый человек. Он казался моложе своих лет. Ему было лет сорок, а на вид только тридцать. Говорил он со мной всегда чрезвычайно непринужденно, держал себя в высшей степени на равной ноге, то есть чрезвычайно порядочно и деликатно. Если он замечал, например, что я ищу уединения, то, поговорив со мной минуты две, тотчас же оставлял меня и каждый раз благодарил за внимание, чего, разумеется, не делал никогда и ни с кем из всей каторги. Любопытно, что такие же отношения продолжались между нами не только в первые дни, но и в продолжение нескольких лет сряду и почти никогда не становились короче, хотя он действительно был мне предан. ( *Начинает неистово молиться, до слёз.)*

**19-эпизод.**

Поступил я в острог зимой и потому зимой же должен выйти на волю, в то самое число месяца, в которое прибыл. Но вот уже и прошло лето, завыл осенний ветер; вот уже начал порхать первый снег… Настала наконец эта зима, давно ожидаемая! Многие арестанты уже поздравляют меня:

– Вот выйдете, батюшка Александр Петрович, на слободу, скоро, скоро. Оставите нас одних, бобылей.

– А что, вам-то скоро ли? – отвечаю я.

– Мне-то! ну, да уж что! Лет семь еще и я промаюсь…

Да, многие искренно и радостно поздравляют меня.

*Арестант словно пришёл в себя. Он огляделся, и заплакал. Затем откуда-то из кучи хлама достал тряпки, начал мастерить что-то похожее на большую куклу- женщину. Затем он прижал чучело к груди, но вдруг беспричинно разозлившись на куклу, разорвал её и раскидал по полу. Опомнившись, заплакал, стал вновь её собирать и просить у куклы прощения.*

*Затем привёл себя в порядок и подошёл к решётке.*

*(зовёт)* Конвойный! Когда мне идти в кузницу, чтоб расковать кандалы? Моя очередь поди, давно подошла. Машенька, я сейчас пойду к наковальне. Кузнецы обернут меня спиной к себе, поднимут сзади мою ногу, положат на наковальню… Они будут суетиться, захотят сделать ловчее, лучше.

– Заклепку-то, заклепку-то повороти перво-наперво!.. – будет командовать старший, – установь ее, вот так, ладно… Бей теперь молотом…

И кандалы упадут. Я подниму их… Мне очень хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз.

– Ну, с богом! с богом! – заговорят арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами.

Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых… Экая славная минута!

Машенька, чем же я лучше других арестантов? Они в сравнении со мной ангелы! А мой грех несмываем! Если бы даже эту Библию до дыр зачитал или скажем, съел её в доказательство невиновности. Такое я сам себе не прощу! Не хочу я туда, что там мне делать без тебя, родимая.

*Обнимает куклу, ласкает.*

Там жизнь начнётся другая и хватит ли сил у меня на неё, а Машенька?

Грешен я, матушка, грешен. И никто мне не простит мои проступки. Никто. Не знаю, как я порешил этого славного человека, Петрова. Машенька, вот он сейчас на меня смотрит, вон, из того угла. Спаси, Машенька, спаси.

Да простишь ли ты меня жёнушка милая, за то, что тебя порешил из-за ревности? Как вернуть эти десять лет назад? Жила бы ты и жила… Отпустил бы я тебя тогда…

А теперь какая жизнь должна быть? Да никакая! Машенька, что же ты молчишь?!

*Схвативши куклу, арестант кружил её и плакал, и смеялся. Но кто это слышал?*

***Июль 2016 год. Москва.***

***Манджиев Борис Наминович, м.т.+79037215439***

**e-mail:merkit57@yandex.ru**

***Разрешаю размещать и публиковать на сайтах.***